

Милания Снегирь

ЧУРАЙ.

СЕРДЦЕ РЕЧНОЙ МАВКИ



СЛАВЯНСКОЕ ФЭНТЕЗИ

Милания Снегирь

Чурай. Сердце речной мавки

«Автор»

2026

Снегирь М.

Чурай. Сердце речной мавки / М. Снегирь — «Автор», 2026

Вода не прячет. Вода хранит. Ей суждено было стать частью речной тишины — мавкой с холодной кожей и замершим сердцем. Варя больше не принадлежит миру людей, и омуты крепко держат свою пленницу. Но у судьбы свои законы, а у Седи — свои стражи. Когда на её пути встает Ратмир — суровый чурай, чья обязанность беречь покой и истреблять нечисть, их миры должны были столкнуться в смертельной схватке. Чураю неведом страх, а мавкам чуждо сострадание. Но древняя, пугающая связь сплетает их судьбы вопреки всему. Ратмир должен исполнить долг. Варя мечтает вернуть то, что у неё отняли — право быть человеком. Цена за этот шаг слишком высока, а речные травы умеют хранить свои мрачные тайны. Сможет ли леденящий холод мавки уступить место живому теплу, или омут заберет их обоих?

© Снегирь М., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	8
Глава 3	12
Глава 4	16
Глава 5	20
Г	25
Конец ознакомительного фрагмента.	26

Милания Снегирь

Чурай. Сердце речной мавки

Глава 1

Вода не умеет прощать. Она умеет только помнить.

Перед рассветом омут затихает. Это единственные часы, когда сестры уплывают к речным перекатам — искать живое тепло, чтобы защекотать, затянуть в ил, выпить чужой выдох до капли. Они давно забыли свои имена. Едва у них вместо ног отросли холодные хвосты, они стали просто мавками. Охотницами. Двухрядные зубы, мутные глаза без зрачков и злой, леденящий хохот над камышами.

Я остаюсь одна. Мой угол — там, где корни старой ивы уходят глубоко в черную жижу. Я замираю у самой поверхности, выставив из воды только бледный нос и глаза. Смотрю, как предрассветное небо отражается в гнилой воде.

Теперь мне кажется, что в том, моем небе — живом, настоящем — даже облака плыли иначе. Или я сама это придумала за две сотни лет? Но день, когда отец привел в избу Агриппину, я помню так, будто это было прошлым летом. У меня тогда под ребрами всё сжалось от глухого, душного предчувствия.

Тот день был сухим и пыльным. Отец непривычно долго возился в сенях, поправлял порты, хмурился и без конца оглаживал бороду. Ладони у него были влажными. Он не смотрел на меня — прятал глаза в пол.

— Принимай хозяйку, Варварушка, — сипло выдавил он, когда калитка скрипнула.

Она вошла, и изба сразу стала тесной. От Агриппины пахло пыльной дорогой, сухой беленой и конским потом. Она не поздоровалась. Переступила порог, накрыв меня своей тяжелой, душной тенью, и принялась обводить горницу колючим взглядом — будто пересчитывала лавки, горшки и сушеные пучки чабреца по углам. Те самые, маминьы, которые отец обещал никогда не снимать.

— Маловато места, — бросила она. Голос у неё был как хруст сухого валежника под сапогом. — Ну ничего. Потеснимся.

Из-за её подола высунулись две девицы. Люша, старшая, сразу потянулась грязными пальцами к маминой расписной чаше на полке. А младшая, Гнуша, шумно шмыгнула носом и ткнула в мою сторону пальцем:

— Ой, мамка, гляди — замарашка какая! И сарафан на ней из дерюги тканый.

Я крепче вцепилась в ухват у печи. Костяшки пальцев побелели. Я смотрела на отца, ждала одного слова. Чтобы рявкнул, чтобы защитил свой дом и меня. Но он лишь виновато, заискивающе улыбнулся и погладил Агриппину по грубому плечу. В ту секунду внутри у меня что-то треснуло и осыпалось холодной трухой. Мой отец исчез. Вместо него стоял чужой, сломленный мужчина, покорный этой тяжелой бабе.

Агриппина шагнула ко мне. Лицо у неё было жесткое, а глаза — злые.

— Скромница, значит? — она усмехнулась, и у меня перехватило дыхание от страха. — В моем хозяйстве скромницы работают за двоих. Бери ведра, девка, и дуй к пруду. Кони пить хотят.

Я бежала к воде не для того, чтобы прятаться. Горло сдавило судорогой, а слезы жгли глаза так сильно, что больно было моргать.

Резкий всплеск над головой заставил меня вздрогнуть. Лягушка.

На плавучей коряге сидела Мава. Кожа у неё была зеленовато-серой, из-под верхней губы торчали мелкие, острые зубы. Она смотрела на меня и злорадно скалилась, радуясь, что напугала.

— Опять застыла, Варя? — она с силой шлепнула хвостом, обдав меня веером брызг.

Они ненавидели меня за то, что я до сих пор отзывалась на человеческое имя. Для них я была порченой. Неправильной тварью, которая против всей логики посмертия берегла внутри искру стыда.

— Всё ждешь кого-то? — мавка противно зашипела. — Отец твой давно в сырой земле сгнил, а мачеха в Нави кости греет. Плыви к нам! На перекате пастушок зазевался. У него кожа теплая, мягкая... Давай защекочем его, пока сердце из груди не выскочит!

От её слов хвост судорожно дернулся, поднимая со дна илистую муть. Пастушок. Живой. Я помнила, каково это — когда кровь стучит в висках от бега, когда солнце греет плечи. Мавы этого не помнили. Для них живые были просто едой. Меня затошнило от её голодного хохота. Я ушла глубже под воду и зажала уши ладонями так сильно, что ногти вошли в мертвую кожу. Пусть лучше будет больно, чем я услышу, как они делят человека. В моем посмертии было нерушимое правило — не трогать тех, кто дышит.

Память ранила сильнее, чем когти сестер. Закрывая глаза, я снова видела, как холод капля за каплей затапливал наш дом.

Запах маминого чабреца исчез быстро — мачеха сожгла его, заменив удушливой беленой, от которой у меня ежедневно раскалывалась голова. Люша и Гнуша перерывали мои сундуки, забирая всё, что им нравилось.

— Батюшка! — Гнуша вытащила из-под лавки мою куклу. Старую, липовую. Отец вырезал её для меня, когда я три дня металась в горячке. Я сама чернила ей глаза угольком, и правый вышел косым. Кукла до сих пор слабо пахла липовой стружкой. — Гляди, страшила какая! Давай ей голову оторвем!

— Отдай, — тихо сказала я, и голос мой задрожал. — Это папин подарок.

— Был папин, стал наш! — Люша вырвала куклу и засмеялась. — Мамка сказала, тут теперь всё наше!

— Папа! — я почти закричала, обращившись к столу.

Отец сидел, уставившись в пустую чашу. Его широкие некогда плечи сгорбились. Он слышал. Но только сильнее вцепился пальцами в край стола. Ногти у него побелели. Он трусил. Смертельно трусил перед женищиной, которую привел.

В ту секунду во мне умерла жалость к нему. Осталась только глухая, ледяная обида. Он предал меня. Отдал на растерзание. Жизнь превратилась в череду упреков и глумления, а отец медленно становился призраком в собственном доме. Я осталась совсем одна, еще будучи живой. От этого одиночества хотелось выть, но крик застревал в горле.

Вода вокруг была плотной, как застоявшаяся кровь. Смех мавок затих на перекатах. Я осталась наедине с тишиной и гнилью.

Два века. Две сотни лет я каждую ночь спускалась на самое дно, туда, где корни старых ив переплетались с камнями. Мои ногти были стерты в кровь о речную гальку, пальцы окоченели, но я упрямо перемывала ил — горсть за горстью, песчинку за песчинкой. Я искала. Не позволяла себе сдаться и превратиться в бездушную Маву.

И сегодня под ногтями наконец блеснул металл. По телу пробежала забытая, горячая дрожь.

Я осторожно вытянула предмет. Серебряное кольцо с простым узором из переплетенных колосьев. Сердце, которое давно не билось, отозвалось острой, болезненной судорогой. Мамино кольцо. После её смерти отец носил его на шнурке у самого сердца, пока Агриппина

в один из первых вечеров не сорвала его и не швырнула в окно, прямо в сторону омута. Она думала, что утопила нашу память.

Я прижала холодный металл к губам. Серебро не грело, но оно было твердым. Настоящим. Доказательством того, что моя человеческая жизнь не была сном. Я не сошла с ума. Я была человеком.

— Думала, вода всё спрячет, — прошептала я, и пузырьки воздуха защекотали щеки.

Я натянула кольцо на палец. Оно было велико моей исхудавшей руке, спадало, но я сжала кулак так крепко, что свело мышцы. Не отдам. Теперь у меня была моя часть. Моя опора.

В этот момент лунный свет, пробивавшийся сквозь толщу пруда, дрогнул. Его отрезало чьей-то тенью. Кто-то стоял на берегу — именно там, где камыши расступались.

Я затаилась у самого дна, испуганно прижимая кулак с кольцом к груди. Сквозь дрожащую гладь воды я видела высокий силуэт. Широкие плечи, обтянутые кожей, тяжелый меч за спиной. От того, кто стоял на берегу, веяло силой и честной, опасной сталью.

Чурай. Из тех, чьи шаги заставляют лесную нечисть затыкаться. Для них мы все — лишь холодные твари, нарушившие закон живых. Осквернители чура, которых нужно упокоить сталью.

Он медленно опустился на одно колено у самой кромки воды. У берега хрустнул прибрежный лед, когда воин погрузил в воду тяжелую ладонь. Он зачерпнул воду.

Вода вокруг меня качнулась. Тяжелая ладонь Чурая разрезала гладь. До самого дна дошла волна тепла — чужого, живого, пугающего. Мои полупрозрачные пальцы задрожали. Столетиями я знала только холодный ил, а теперь эта живая плоть была в нескольких вершках от меня. Мое тело сковал ледяной ужас. Чурай замер, опустив пальцы в темную глубину, прямо надо мной. Сквозь толщу ил он вглядывался в самую суть омута. Он чуял меня. Я была уверена — он знает, что я здесь.

Один неверный взмах хвоста, один лишний пузырек воздуха — и он убьет меня.

Я видела его лицо — резкое, жесткое, словно высеченное из камня. В его взгляде не было страха. Только сосредоточенная, тяжелая дума. Я замерла, почти перестав дышать. Моё сердце вдруг отозвалось странной, безумной дрожью. Не от страха... а от того, насколько живым он казался на фоне этого мертвого, застоявшегося мира. От него пахло жизнью и непонятным, давно забытым голодом. Мне одновременно хотелось коснуться его пальцев и уплыть прочь, забиться под самый глубокий коряжник, чтобы он не уничтожил меня своим светом.

Чурай медленно вынул руку из воды. Поднялся, повернулся и исчез в лесной чаще, не издав ни звука. Лишь камыши еще долго колыхались. От берега потянуло горькой полынью.

Когда шелест его шагов затих, я наконец смогла выдохнуть. Медленно поднялась к самой поверхности. На берегу, на влажном песке, остался четкий след его тяжелого сапога. Вода уже начала подмывать края отпечатка, заполняя его илом.

Я посмотрела на свою руку. Серебряное кольцо матери тускло мерцало на бледном пальце. Оно казалось невероятно тяжелым, оно тянуло руку вниз. В голове эхом отозвались слова мачехи: «Вода всё спрячет».

Нет. Вода не прячет. Она хранит.

Я глубоко, жадно вдохнула ночной воздух и бесшумно ушла на дно.

Глава 2

Ратмир отошел от воды на добрую сотню шагов, прежде чем позволил себе глубоко, до боли в груди, выдохнуть скопившийся в легких холод. Задерживаться у этого безымянного пруда он не собирался — путь его лежал в соседнюю весь, где, по слухам, разгулялась стая волколаков. Эти твари были крупными, свирепыми и куда более опасными, чем придонные озерные девки. На охоту требовалось идти с чистыми мыслями и верной рукой, но чурай не мог просто пройти мимо места, о котором в округе шептались с таким суеверным страхом.

К самому омуту он намеренно ходил пешком, оставив коня на безопасном расстоянии: животные за версту чуют навь со дна, и незачем было лишний раз пугать верного Бурана.

Тяжелый, давящий зуд между лопаток, который в былых сечах всегда предупреждал его о близкой засаде, так и не прошел. Спинай Ратмир физически чувствовал, как притихший за его плечами пруд продолжает дышать в затылок сырым, гниlostным холодом чужого мира.

Чурай шел ходко, уверенно срезая угол сквозь глухую ночную темень — лесные дебри он знал и понимал гораздо лучше, чем исхоженные городские улицы.

Вскоре впереди послышалось тихое, предупреждающее фырканье. Ратмир шагнул на небольшую поляну, где в густом малиннике его дожидался вороной тяжеловоз, и привычно потрепал жеребца по жесткой, пахнущей горьким потом гриве. Буран лишь потянулся навстречу и тяжело ткнулся бархатным носом в ладонь, признавая хозяина и постепенно успокаиваясь после близости нежити.

Сбросив тяжелый, пропитавшийся ночной сыростью плащ прямо на поваленный ствол старой сосны, Ратмир сел на корточки рядом с затухающим костром. Тлеющие угли едва алели в темноте, не давая тепла. Меч из темной стали, закаленный специально против порченной крови, привычно лег поперек его коленей. Чурай достал из сумы кусок ветоши и принялся медленно, с нажимом протирать лезвие. Металл и без того был чист, но это нехитрое, монотонное дело всегда помогало ему унять напряжение в мышцах и разложить мысли по местам.

Там, у омута, его появление подействовало на местную нежить словно ледяной дождь. Стоило ему приблизиться к воде, как мавки, караулившие добычу в камышах, брызнули врассыпную под коряги, боясь даже вздохнуть. Их гнал удушливый для нави запах каленой стали и горькой полыни — клеймо близкой смерти, которое чурай неизменно нес на себе. В деревне староста испуганно предупреждал его: «Не ходи к омуту, там девки злые, защекочут до смерти и на самое дно утянут».

Но там, у воды, всё вышло совсем иначе. Он был готов встретить голодных, злобных тварей, а наткнулся на какую-то глухую, почти человеческую тоску. Будто из глубины черной жижи на него глядело не чудовище, а кто-то бесконечно одинокий и несчастный. Одна из мавок так и не спряталась глубоко в ил. Ратмир отчетливо помнил, как в лунном свете, прямо под слоем тонкой ряски, блеснуло что-то маленькое и правильной формы. Это была не чешуя и не рыбий бок, а старое серебряное кольцо на тонком, бледном пальце.

Он нахмурился от этих мыслей, отложил ветошь и подбросил в костер охапку сухого хвороста. Пламя жадно лизнуло ветки, ярко осветив его лицо — резкие, будто топором тесанные скулы, старый белый шрам, пересекающий левую бровь, и светлые, слишком внимательные для человека глаза.

«Волколаки подождут до рассвета, — подумал он, прикрывая тяжелые веки и прислушиваясь к ночным звукам. — А вот этот омут... в нем затаилось то, чего я раньше на тропях Нави не встречал. Не может обычная нежить смотреть на живого человека так, словно сквозь посмертие силится вспомнить родную речь».

Соблазн вернуться к камышам и дожидаться утра у воды был велик, но долг чурая перевесил. В соседних весях лилась живая кровь, и каждый час его промедления платился чьей-то невинной жизнью. Тени под деревьями стали бледнеть, и ночь медленно сдавалась наступающему дню. Он поднялся, легко вскинув на плечи перевязь с мечом, и уверенно перебросил ногу через седло тяжеловоза.

— Нет, — хрипло прошептал он в утреннюю тишину, трогая поводья. — Мертвые ждут. Живые — нет.

Ратмир добрался до околицы веси, когда небо только начало окрашиваться в серый, брызгло-грязный цвет предрассветья. Идти на волколаков в глухую темь неподготовленным было бы верной смертью, ведь ночью в чаще они полноправные хозяева. Рассвет — совсем другое дело. Это лучшее время, чтобы читать следы: пока солнце не поднялось высоко и не высушило ночную росу, можно точно узнать, сколько именно тварей в стае и куда они уползли пережидать день под видом обычных людей.

Оставив Бурана в глухом укрытии за густой стеной ельника, Ратмир окинул деревушку долгим, изучающим взглядом. На первый взгляд всё казалось вымершим: ставни на избах были закрыты наглухо, из труб не шло ни дымка, и даже собаки не подавали голоса. В саму весь он заходить не стал. Лишние разговоры, причитания испуганных баб и пустые, трусливые обещания деревенского старосты только отняли бы драгоценное время, а след за околицей был еще горячим и пахучим. Эмоции людей — это лишний шум, который только мешает слушать дыхание леса.

Чурай вошел в чащу бесшумно, мягко перекачивая ногу со стопы на пятку. Здесь запах волколаков стал почти осязаемым, густым: тяжелый, мускусный, с кислой примесью звериного пота, гнили и парной крови. Пятеро оборотней шли всею, плотно загоня свою жертву, а их Альфа держался чуть позади, направляя и контролируя молодняк. Ратмир двигался след за следом за вожаком, подмечая каждую примятую травинку и сбитые с листьев капли росы.

В паре верст от деревни, посреди густого и колючего малинника, след привел его к страшной находке. На вытоптанной, измятой поляне лежало растерзанное тело деревенского сторожа. Чурай остановился и тяжело опустился на одно колено. Его взгляд придирчиво зафиксировал приметы злодеяния: горло бедолаги было перекушено одним мощным, точным рывком — это была работа Альфы, который убивал наверняка и без лишней суеты. А вот остальной ущерб телу наносили уже молодые твари. Они не столько ели плоть, сколько беспорядочно рвали её, впервые пробуя вкус человеческой крови. Они убивали ради забавы, только обучаясь жестокости под присмотром вожака.

— Дурная кровь, — коротко процедил Ратмир и поднялся, отряхивая колено от лесной земли.

В его мире всё всегда было просто и понятно: есть живые люди, которых нужно защищать до последнего вздоха, и есть порченые тени, которые нарушили священный чур и подлежат немедленному истреблению. Граница между ними оставалась четкой, как лезвие его верного меча.

Но на выходе из чащи волчий след преподнес ему неожиданный сюрприз. Крупные отпечатки лап вожака возле расколотой молнией ракиты вдруг оборвались, сменившись глубокими вмятинами от тяжелых человеческих сапог. И вели эти следы напрямик к одному из центральных домов веси. Альфа бросил свою молодую стаю в лесном логове, а сам вернулся обратно, скрывшись под видом человека.

Ратмир замер под деревьями, и его светлые глаза опасно сузились. Оборотень не просто прятался в лесу — альфой стаи был сам глава этой деревни. Днем этот человек вел обычную жизнь, носил чистую одежду, вершил суд и открыто смотрел соседям в глаза, а ночью тайно выводил свою порченную свору на кровавую охоту.

Штурмовать избу среди бела дня было глупо и неосмотрительно. Оборотня в его человеческом обличии местные жители будут защищать до последнего, тем более своего старосту. И если Ратмир решит дать бой прямо сейчас, деревенские по незнанию и слепой преданности встанут на сторону твари. А калечить или убивать невинных людей, ослепленных ложью, ему совершенно не хотелось — его долг заключался в том, чтобы уничтожить чудовищ, а не множить людское горе.

Ратмир бесшумно отступил назад, возвращаясь под защиту леса, ближе к Бурану. Нужно было затаиться, схорониться в чащобе и набраться сил перед долгой ночью. Впереди был целый день. Чурай собирался дожидаться глухих сумерек, чтобы взять тварей с поличным, когда маски будут сброшены и их звериная, порченная суть станет очевидна для всей деревни.

Он сел на мягкий мох, прислонившись спиной к шершавому стволу вековой сосны, и положил ладонь на черен меча. До темноты оставалось много часов. Прикрыв глаза, Ратмир провалился в чуткий, тревожный сон воина, где ему сквозь шелест листвы снова чудился замерший омут, пронзительный холод Нави и невидимый, затаенный взгляд, полный глубокой человеческой тоски.

Когда солнце поднимается высоко над верхушками сосен, пронзая толщу воды горячими золотистыми иглами, омут окончательно затихает. Мои сестры одна за другой уходят на самое дно, зарываясь в холодный ил и густые переплетения озерных трав, спасаясь от ненавистного дневного света. Они не выносят солнце — оно слишком ярко и больно напоминает им о том, чего они навеки лишились.

А я снова не могу уснуть.

Я одиноко сижу на замшелой, скользкой коряге, едва прикрытая водой, и прячусь в густой тени старой плакучей ивы. Дневной зной почти не касается моего измененного тела — я остаюсь ледяной, но слабое тепло лучей, пробивающихся сквозь листву, манит меня, как манит замерзающего человека далекий огонек чужого костра.

В ту короткую, прошлую жизнь мне всегда говорили, что мертвые ничего не чувствуют, но это оказалось ложью. Я чувствую. В моей ладони, крепко сжатой в кулак, зажато кольцо матери. Обычное потемневшее серебро, но после ухода чурая оно будто посылает мертвую кожу, мешает забыться и уйти в покой. От него теперь пахнет честной, каленой сталью и горькой полынью — чужим, будоражащим миром живых, который упрямо тянет мою душу обратно на берег.

Мавки не должны помнить. Мавки должны лишь ненавидеть живых, заманивать их в коварную тину и злорадно смеяться, слушая их предсмертные хрипы. Так делали все мои сестры. Но я... я до сих пор помнила вкус свежего хлеба из отцовской печи и то, как пахнет разогретая полуденным солнцем земля у нашего порога.

Но всё это человеческое тепло давно вымылось из меня, уступив место придонному, равнодушному холоду. Единственным живым, что коснулось этого берега за долгие годы, стал этот воин.

Тот человек со шрамом не был похож на трусливых деревенских парней, которые с криками убегали от любого всплеска в камышах. В его глаза было страшно смотреть — в них царил пустота, но не злая, а глубокая и тяжелая, как само небо перед великой грозой. Он посмотрел на меня сквозь воду и не поднял своего грозного оружия. Он просто прошел мимо, оставив на прибрежной траве этот горький, беспокоящий след своего присутствия.

Живые никогда не делят свой мир с мертвыми. Но почему тогда внутри меня, там, где когда-то билось настоящее сердце, сейчас так невыносимо тянет и ноет?

Время тянется медленно и лениво. Омут дышит спокойно, баюкая спящих на дне сестер. Но ближе к вечеру, когда солнце начинает касаться горизонта и окрашивает воду в тревожный цвет разбавленной крови, по речному дну проходит странная, едва заметная дрожь.

Вода — это вены леса, и она знает абсолютно всё. И сейчас она приносит со стороны соседней деревни тяжелый, удушливый запах. Это запах дикой, яростной порчи, от которой камыши у берега испуганно шелестят, а кувшинки сворачивают свои белые чашечки гораздо раньше времени. Это не привычный мне чистый холод Нави. Это скверна — живая, голодная, злая и очень опасная.

Я резко поднимаюсь со своего места, судорожно хватаясь пальцами за гибкую ветку ивы. Вода передает мне чужой, пугающий зуд нехорошего предчувствия.

Туда, к той веси, стремительно идет большая беда. И тот холодный воин со светлыми глазами сейчас идет прямо ей навстречу.

Глава 3

Сумерки упали на весь внезапно. Лес вокруг притих, погрузившись в ту глухую, давящую тишину, какая бывает только перед большой бедой — даже ночные птицы не смели подать голоса, чуя подступающую худину. На блеклом небе высыпали первые звезды — мелкие, острые и леденящие.

Чурай открыл глаза. Сон слетел мгновенно, оставив во рту горький привкус. Ратмир не шевелился, сливаясь спиной с замшелым стволом, но все его чувства натянулись, как тетива. В малиннике глухо переступил с ноги на ногу и замер, намертво прижав уши, вороной тяжеловоз. Буран чуял то же, что и хозяин. Червивую, порченую навь.

Пора.

В деревне, за которой Ратмир наблюдал сквозь сплетение ветвей, началось тайное движение. Окна изб оставались слепыми и темными — никто в эту ночь не зажег лучины, страшась привлечь внимание хозяев леса. Зато от крыльца просторной избы старосты одна за другой бесшумно отделились пять длинных теней. Они передвигались на четырех лапах, низко прижимаясь к пожухлой траве, и направлялись напрямик к лесной опушке, ведомые сырым звериным голодом.

А вслед за ними, не таясь, шел человек. Высокий, широкоплечий, в накинутах на плечи дорогом кафтане — глава веси. Он ступал уверенной, тяжелой походкой хозяина земли, но Ратмир даже издали видел, как неестественно, с костяным хрустом ломаются его движения в суставах. Воздух вокруг старосты словно густел, наливаясь удушливым духом тухлой крови и застарелой порчи, которую этот человек днем так искусно прятал под живой личиной.

Ратмир медленно поднялся, беря рукоять меча. На его лице не дрогнул ни один мускул. Привычный лед внутри окончательно сковал мысли, вытесняя всё лишнее и оставляя лишь одну прагматичную цель — выжечь скверну дотла.

— Ну давай, староста, — едва слышно, одними губами прошептал чурай, делая первый шаг в темноту навстречу своре. — Посмотрим, чем тебя Навь откормила.

Твари скользнули в чащу, и Ратмир неспешно двинулся наперерез. Он знал этот лес, знал, где тропа сужается, зажата между болотным окном и поваленным коряжником. Именно там, где у них не будет места для маневра, он их и встретит. Всё шло строго по его расчету.

В глубине чащи послышался первый вой — низкий, утробный, от которого с веток посыпалась сухая хвоя. Стая приближалась, чуя близкую человеческую плоть.

Первым из темноты сосняка вывалился Альфа. Обычные лесные волки такими не бывают — этот перевертыш размерами превосходил матерого медведя. Седая клочковатая шерсть стояла дыбом на загривке, лапы ломали толстые ветки. Ратмир и раньше рубил подобных чудовищ, но в этом существе было что-то совсем неправильное, тошнотворное.

Глаза. Обычно у волколаков они горят ядовитым, голодным желтым пламенем, в котором бьется дикая звериная ярость. Но у этого выродка зрачки заволокла липкая, шевелящаяся тьма. Черная скверна, похожая на грозовую тучу, медленно пожирала радужку, оставляя лишь тонкий ободок безумного золота. От вожака веяло не просто лесом, а гнилью и разверстой могилой.

Альфа повел массивной мордой, втягивая ноздрями влажный воздух. Почуял.

Он утробно, хрипло рыкнул, обнажая длинные, сочащиеся пенистой слюной клыки, и резко мотнул тяжелой головой в сторону кустов. Этот короткий жест послужил безмолвным приказом для его порченой своры.

Четверо серых теней разом сорвались с места. Твари ринулись вперед, взрывая когтями влажный мох и низко пригибая морды к земле. Пятый волк — самый мелкий, едва успев-

ший обрасти клочковатой бурой шерстью — на секунду замешкался, трусливо прижав уши к черепу, но бросился следом, подгоняемый яростным рыком вожака.

Ратмир не двинулся с места. Ожидание сжало внутреннюю пружину его тела до предела. Меч из темной стали тускло ловил звездный свет.

Один из нападавших прыгнул первым, целясь чураю в горло. Ратмир резко, на полшага ушел в сторону, и в ту же секунду в ночной тишине раздался оглушительный, сухой щелчок кованого железа, сменившийся пронзительным, почти детским визгом. Бурый недоросток, шедший последним, угодил лапой прямо в тяжелый стальной капкан, который Ратмир заботливо присыпал палой листвой. Зубья намертво, с хрустом въехали в кость. Оборотень повалился на бок, отчаянно и жалко скуля на весь лес.

Но остальные твари даже не обернулись на крик сородича — черная кровь в их венах требовала убийства. Три огромных силуэта окружили чурая: один зашел со спины, двое других атаковали в лоб, пытаясь разорвать на части.

Холодная сталь звякнула о клыки. Ратмир крутанулся на пятках, уходя от занозистых когтей. Меч описал в воздухе идеальную, свистящую дугу. Первый волк, напоровшись грудью на лезвие, рухнул замертво, мгновенно заливая черной, густой кровью кусты черничника. Второй попытался перехватить плечо чурая, но Ратмир резко рубанул наотмашь, рассекая твари морду от уха до пасти. Оборотень замертво свалился в грязь, судорожно суча лапами.

Это была привычная, страшная жатва чурая: шаг влево, блок, короткий рубящий удар. Еще двое молодых волколаков, так и не успевших понять, с кем столкнулись на узкой тропе, легли у его ног, хрипя и истекая тяжелым, дурно пахнущим на всю округу варом.

Но радоваться было рано. Впереди, тяжело переступая мощными лапами, стоял сам Альфа. Четверо его подопечных были мертвы, пятый продолжал выть в капкане, но вожака это, казалось, не волновало. Чернота в его глазах пульсировала, а из пасти капала густая темная жижа, с шипением выжигая мох под лапами.

— Думал, ты самый умный, чурай? — прохрипело чудовище, и его человеческое лицо на мгновение проступило сквозь волчью шкуру, искаженное жуткой, ломаной гримасой. Староста пытался глумиться, нащупывая задними лапами опору для прыжка. — Эта земля... теперь наша. Ты опоздал. Хозяин идет из Нави...

Альфа не договорил. Он прыгнул с неестественной, пугающей скоростью — скверна придавала его мертвому телу силы, превосходящие всякую звериную стать.

Ратмир успел выставить жесткий блок, принял удар на гарду, но сила вожака оказалась непомерной — чурая с маху отбросило назад.

Спиной он врезался в ствол березы, из груди сдавленно вышибло воздух, а по левому боку, ниже ребер, полоснуло живым огнем. Когти вожака с мясом распорили кожаный доспех и плоть. Горячая кровь брызнула на траву, и Ратмир с ужасом почувствовал, как вместе с острой болью в его тело проникает леденящий, парализующий яд. Та самая черная скверна из глаз старосты.

Голова сразу пошла кругом, мир заколыхался, но многолетняя выучка сработала быстрее, чем разум успел сдаться.

Альфа уже заносил тяжелую лапу для смертельного удара, его пасть раскрылась в победном реве. Ломая траекторию собственного падения, Ратмир упал на колено, пропуская массивную тушу врага над собой, и из последних сил, вложив весь свой вес, рубанул мечом снизу вверх — прямо по уродливой шерстистой шее старосты.

Хрустнуло. Тяжелая голова Альфы — с человеческими ушами, но звериным оскалом — отлетела в сторону и покатилась по траве. Огромное тело рухнуло рядом, дергаясь в предсмертных судорогах и заливая землю черной гнилью.

В лесу повисла оглушительная, мертвая тишина. Только из темноты, со стороны капкана, доносился прерывистый, тихий плач.

Ратмир тяжело, со свистом дышал, намертво зажимая рану на боку правой рукой. Пальцы быстро стали липкими и горячими, а в венах настойчиво разливался чужеродный, мертвенный холод. Бок нещадно горел.

Стараясь не терять сознание от подступающей дурноты, чурай медленно, волоча онемевшую ногу, направился к ловушке. Меч он не опускал — сталь смотрела в землю.

Там, в железных зубьях, бился последний оборотень. Но, к удивлению Ратмира, звериная шкура с него уже спала, растворившись в ночном тумане. На грязной траве, прижав к груди окровавленную ногу, лежал совсем молодой парень — мальчишка лет шестнадцати, бледный, худой, с диким ужасом в округлившись человеческих глазах. Черной скверны в них не было. Только слезы, грязь и смертный страх.

Мальчишка замер, глядя на приближающегося окровавленного воина, от которого пахло гибелью всей его стаи. Он зажмурился и судорожно вжал голову в плечи, ожидая, что холодная сталь сейчас прекратит его мучения.

Ратмир остановился над ним. Острие меча замерло в вершке от тощей шеи парня.

Чурай смотрел на плачущего пацана, и перед его глазами вдруг вспыхнуло совсем другое лицо, похороненное в памяти под слоем многолетнего льда. Воспоминание нахлынуло не вовремя — болезненно, остро, до тошноты. Точно такое же выражение лица, тот же смертный ужас в глазах... Это был его младший брат. Мальчик, которого Ратмир когда-то давно не успел, не сумел спасти от лап порченной нежити. Именно та старая трагедия навсегда выжгла в нем человека и заставила выбрать путь чурая.

Занесенный клинок остановился. Дрогнул. Он понял, что не может опустить сталь на эту шею.

Чурай опустил меч и тяжелым движением кованого сапога разжал зубья ловушки. Парень, не веря в то, что его оставляют в живых, застыл на месте, боясь даже вздохнуть.

— Иди в весь. Схоронись где-нибудь. Позже решу, что с тобой делать, — глухо бросил Ратмир, едва удерживаясь на ногах.

Бок горел, кровь продолжала сочиться сквозь пальцы, но пугал не порез. По телу настойчиво разливалась странная, липкая слабость, туманящая разум — яд Альфы делал свое дело. Сил разбираться с напуганным мальцом уже не оставалось.

А тот не убегал. Он не попытался скрыться в темноте леса. Во взгляде парня что-то неуловимо изменилось — дикий ужас сменился странным, собачьим, преданным оцепенением. Стая погибла, вожак был мертв, и этот подросток инстинктивно искал того, кто сильнее. Ратмир заметил этот взгляд, но вникать в волчью натуру сейчас не было времени.

— Звать-то тебя как? — спросил чурай, пытаясь удержать уплывающее сознание.

— Волко... — тихо отозвался парень и грустно потупил взор.

— Хм, вот как... — Ратмир горько усмехнулся, сплюнув кровь под ноги. — Узнаю, что удрал или тронул кого — найду из-под земли и шкуру заживо спущу. Не сомневайся. А теперь пошел прочь.

Мальчишка покорно кивнул, но уходить все равно не спешил, оставаясь в паре шагов за спиной воина, словно привязанный невидимым поводком.

Ратмир привычным движением вытер потемневший меч о край кафтана убитого старосты и с тихим щелчком убрал оружие в ножны. Пересиливая подступающую к горлу дурноту, он поднял с земли за седые волосы тяжелую голову бывшего вожака стаи и медленно двинулся в сторону веси — забирать свою честно заработанную плату.

Уже в веси, завидя Ратмира — окровавленного, смертельно бледного, со страшной ношей в руках, — местные жители начали робко высыпать на улицу, собираясь в кучу у дома старосты. Людской испуганный ропот волной покатился по рядам, когда чурай с глухим, тяжелым стуком швырнул под ноги собравшимся голову их предводителя.

Толпа дружно ахнула. Женщины в ужасе закрыли лица руками, кто-то из мужиков крепче схватился за черенки вил, но стоило им всмотреться в застывшие, наполовину звериные черты покойного, как гнев сменился леденящим ужасом. Черная жижа, все еще сочившаяся из разрубленной шеи оборотня, с шипением выжигала дорожную траву, а в открытых мертвых глазах зловеще пульсировала тьма Нави. Ошибиться было невозможно — их заступник сам был той самой тварью, что годами терзала окрестности.

— Ваша стая мертва, — голос Ратмира прозвучал на удивление тихо, но в гробовой тишине его услышал каждый. — Альфа больше не придет в ваши избы. Выбирайте нового старосту.

Вперед, покачиваясь от страха и мелко крестясь, вышел сутулый седой зажиточник — помощник убитого. Трясущимися пальцами он развязал на поясе увесистый кожаный кошель и, старательно избегая встретиться с чураем взглядом, протянул серебро.

— Вот... всё, как уговаривались, мил человек. Спаситель ты наш... — пролепетал старик, отступая назад.

Ратмир молча перехватил кошель, засунув его за пояс. Ему не нужны были их трусливые благодарности. В глазах уже плыли широкие темные круги, а левый бок онемел так сильно, что он почти не чувствовал собственной ноги. Опираясь лишь на остатки тающей воли, чурай повернулся к лесу, хриплым свистом подзывая верного коня.

Из тени ракиты на краю площади, растерянно переминаясь с ноги на ногу, показался парень — Волко. Местные мужики угрожающе зашептались, узнав в нем деревенского сироту-подпаса, но Ратмир лишь бросил через плечо ледяной, предупреждающий взгляд:

— Мальчишку не трогать. Он теперь мой.

Возразить окровавленному чураю, который только что в одиночку вырезал стаю волколаков, никто не посмел. Мужики попятились.

Кое-как, с третьей попытки вдев ногу в стремя, Ратмир тяжело ввалился в седло Бурана. Пальцы, испачканные в собственной чернеющей крови, судорожно вцепились в поводья, путаясь в гриве. Вороной конь, чутко уловив, как слабеет хозяин, тревожно и тихо заржал, после чего сам зашагал прочь от проклятой деревни, мягко и осторожно неся всадника вглубь леса. Волко, прихрамывая и пряча лицо в лохмотьях кафтана, послушной тенью следовал за ними на расстоянии, не отставая ни на шаг.

Они отошли от околицы всего на пару верст, когда Ратмир окончательно потерял контроль над слабеющим корпусом. Разум заволокло плотным, ледяным туманом Нави, пальцы сами собой разжались, и он ничком упал на жесткую шею жеребца, проваливаясь в беспамятство.

Умный Буран не остановился. Он шел по знакомому следу, ориентируясь по запаху старой стоянки — туда, где среди вековых сосен дышал ночной прохладой замерший омут, у берега которого уже ждала, испуганно вглядываясь в темноту леса, бледная мавка со светящимся материнским кольцом на пальце.

Глава 4

Чем ближе к рассвету, тем сильнее ныло под рёбрами. Неживую плоть сковал глухой, лихорадочный испуг — внутри всё сжалось так, что невозможно было вздохнуть. Нарастало чёткое, жуткое ощущение: в чаще случилось что-то страшное и непоправимое, и этот страх не давал покоя.

Я металась. Испуганно прислушивалась к ночным шорохам, ныряла на самое дно, надеясь похоронить себя в сонной тишине ила, но тут же упрямо выплывала обратно, чутко слушая воду. Выбиралась на песчаную кромку берега и снова испуганно уходила на глубину.

Моя нервозность передалась омуту. Остальные мавки тоже почуяли неладное — притихли, забились под коряги. Когда я в очередной раз взбаламутила воду среди бледных кувшинок, Мава, уходя на дно, растерянно и злобно прошипела мне в лицо: — Совсем от своей тоски ума лишилась, порченная! Уймись уже наконец! Навь колом стоит над лесом, скверна идет!

Они скрылись в ледяной чернильной жиже, не дожидаясь первых лучей. Я же пропустила их извет мимо ушей и снова поплыла к берегу, подгоняемая глухим предчувствием. Но коснуться песчаной косы не успела.

Прибрежные камыши со свистом и треском расступились. К самой воде, тяжело, со свистом раздувая ноздри, вывалился конь. Давно я не видела живых лошадей, а таких огромных, мощных тяжеловозных коней — и подавно. Я застыла посреди пруда, позабыв, как шевелить пальцами. Вороной жеребец тревожно фыркнул, обдав меня запахом горячего пота, степной травы и... парной, калёной крови.

Только тогда я разглядела всадника. На жесткой, окровавленной гриве, уткнувшись лицом в шерсть, лежал тот самый чурай со шрамом. Мужчина был без чувств. Его пальцы судорожно, безвольно соскользнули с поводьев, и тяжелое тело начало заваливаться на бок. Конь испуганно заржал, теряя опору под тонущим хозяином, и по колено провалился в прибрежную тину.

Я, не помня себя от ледящего страха, рванулась вперед. Мои бледные руки сами вытянулись из воды, подхватывая падающего воина у самой кромки омута. Тяжелый, закованный в ремни, кованую сталь и кольчужные кольца, он едва не увлек меня за собой на дно, в царство теней. Но конь, почувствовав, что хозяина перехватили, послушно и мощно подался вперед, на сушу, позволяя мне буквально сдернуть мужчину с седла.

Превозмогая жгучую, сухую боль от нахождения на воздухе, ловя пересохшими губами ночную прохладу, я вытянула обмякшее, неподъемное тело незнакомца выше на прибрежный песок — подальше от голодной глубины.

Мыслей оставить его или уйти на дно не было вовсе. Серебряное кольцо на моем пальце вдруг отозвалось живым, предупреждающим теплом, покалывая кожу.

Чурай лежал на спине, бледный, как само посмертие. Левый бок его кожаного доспеха был в лохмотья распорот чудовищными когтями, и оттуда, толчками выплескиваясь на влажный мох, сочилась густая, неестественно черная жижа. Скверна. Она тускло дымилась в лунном свете, с шипением выжигая речные травы вокруг раненого.

Вдруг позади, у самой опушки, послышался хриплый, прерывистый шаг. Из лесной тени, прихрамывая на окровавленную, обмотанную тряпьем ногу, вышел парень. Совсем молодой, худой, с диким волчьим оскалом на искусанных в кровь губах. В его глазах метался смертный ужас, но, завидя меня, он утробно, по-звериному зарычал, заслоняя собой раненого воина.

— Назад, мавка! — крикнул он, шатаясь от усталости и сжимая кулаки. — Не тронь вожака! Разорву!

Но из глубин омута за моей спиной уже пошли тяжелые круги. Почуввав живую кровь сильного мужчины, сестры начали просыпаться. Вовода вокруг запенилась, забурлила, и из темной толщи одна за другой стали подниматься бледные головы с облепленными тиной волосами и горящими голодными глазами. Мавы возвращались. Они тянули костлявые пальцы к берегу, готовые утянуть полумертвого чурая в ил и выпить его последний выдох.

Не знаю, откуда во мне взялось столько злой, человеческой решимости, но я резко обернулась к перевертышу и четко, с непривычной ноткой ледяной стали в голосе, приказала: — Оттащи его дальше в чашу! Быстро! Я их удержу!

Парень не стал тратить мгновения — перехватив тяжелое тело чурая под мышки, он из последних сил потащил его прочь от кромки воды, в глубь леса. Умный жеребец двинулся следом за ними, закрывая собой раненого хозяина и волчонка.

Убедившись, что они ушли, я повернулась к вынырывающим сестрам. Мой голос сорвался на утробный, шипящий рык, от которого закачались камыши: — Не троньте его. Пошли прочь на дно, твари!

Я вложила в этот крик всю свою вековую ярость, всю глухую обиду и ледяную злость, что копились внутри еще со дня предательства отца. Я обязана была спасти этого чурая — чувствовала это всей своей мертвой, истосковавшейся по свету душой.

Не знаю, что именно их остановило — то ли мое бледное лицо исказилось такой силой, какой они никогда не видели, то ли мавок испугало, что порченная впервые за два столетия дала им отпор. Но они испуганно попятились назад, погружаясь в серую пену. Лишь Мава с волосами цвета болотной жижи в сердцах выплюнула мне в лицо: — Вот же дура чумная... Твоя доброта тебе же кости и переломает!

Она злобно хлыснула хвостом и последней ушла на глубину, оставив берег в покое.

Я повернулась к лесу. Мой собственный хвост, широкий, покрытый бледной, почти прозрачной чешуёй, лениво ударил по мелководью, поднимая со дна ил. Мавки не ходили по земле — Навь намертво привязывала их к топям и омутам. И чем больше мои сёстры творили зла, чем больше живых душ они утягивали за собой в холодную тину, тем сильнее менялась их порченная плоть. Навь забирала у них человеческое. Их пальцы срастались перепонками, зубы превращались в игольчатые клыки, а хвосты становились тяжёлыми, монолитными, лишая мавок даже призрачной надежды когда-нибудь снова коснуться ногами суши. Они становились чудовищами, запертыми в воде собственной яростью.

Но я за два столетия не причинила живым вреда. Ни один человек не захлебнулся в моих камышах, ничью жизнь я не выпила до дна. И только поэтому моё посмертие ещё хранило хрупкую, болезненную память о прежнем облике.

Сделав глубокий, пустой выдох, я упёрлась ладонями в прибрежный песок. Бледная чешуя на хвосте дрогнула, зашевелилась, с тихим шуршанием разделяясь надвое. Плавник истончился, оборвался рваными хлопьями, и из речной пены на сушу вытянулись две тонкие, белые ноги. Уродливое, призрачное подобие тех ног, на которых я когда-то девчонкой бегала по отцовскому двору.

Земная сушь мгновенно встретила меня жгучей, иссушающей обидой. Стоило ступне коснуться прибрежного мха, как подошвы опалило, словно раскалёнными углями. Природа мавы не отпускала, она упрямо брала своё, требуя вернуться в родную сырость. Каждая секунда на воздухе высушивала кожу, ноги слушались плохо, наливаясь свинцовой тяжестью, суставы судорожно сводило, и мне приходилось переставлять их через силу, преодолевая тупую, ноющую боль.

Но я упрямо шла вперед, волоча ноги по хвое, ориентируясь на тяжелый хрип чурая и испуганное сопение волчонка.

Они устроились на той самой старой стоянке у поваленной сосны, где еще вчера воин правил свой меч. Чурай лежал на мху возле остывшего кострища. Хромой мальчишка сидел

перед ним на коленях, растерянно зажимая рану на боку мужчины своими грязными ладонями, но черная жижа просачивалась сквозь его пальцы, продолжая отравлять плоть. Из пасти чурая уже вырывалось леденящее, рваное дыхание — яд Нави подбирался к самому сердцу.

— Уйди, — тихо, но не терпя возражений сказала я, выходя из тени деревьев.

Парень вскинул на меня полные слез и злости глаза, хотел было огрызнуться, но осекся. Взгляд его испуганно мазнул по моей фигуре — по бледной, абсолютно нагой коже, по тонким ключицам и влажным волосам, едва прикрывавшим грудь. Волко вдруг густо, до ушей покраснел. В его светлых глазах дикий звериный блеск вмиг сменился растерянным мальчишеским стыдом. Он дернулся, пряча вспыхнувшее лицо в нечесаных серых патлах, и покорно отступил назад.

Волчонок прижался спиной к мощному боку коня, а серый жеребец тихо, жалобно заржал, глядя на меня с почти человеческой мольбой.

Я опустилась на колени прямо в сухую хвою. Кожу мгновенно обожгло земным жаром, но я не обратила внимания. Вблизи рана выглядела еще страшнее: скверна пульсировала, пожирая живую кровь воина. Если не убрать этот яд сейчас, к рассвету он станет одной из тех тварей, которых сам же истреблял. А чурай не должны становиться чудовищами.

Я не умела исцелять живых. Нас, мавок, учили только забирать жизнь, вытягивать остатки тепла через дыхание. *«Если я могу забрать тепло, значит, смогу забрать и порчу»*, — промелькнула отчаянная, безумная мысль.

Я занесла бледную, почти прозрачную ладонь над его распоротым боком. На моем пальце тускло блеснуло серебряное кольцо матери. Стоило мне приблизить руку к скверне, как переплетенные серебряные колосья на ободке вдруг вспыхнули чистым, мягким светом. Этот свет не обжигал, наоборот — он словно раздвинул черную тучу яда, обнажая живое мясо раны. Мамина защита, мамины травы... Серебро, выброшенное мачехой в омут, теперь защищало меня от окончательной гибели.

Закрывая глаза, я наклонилась ниже. Мои ледяные губы коснулись его пылающего жаром лба, а ладонь плотно прижалась к сочащейся ране.

В ту же секунду мою руку прошила дикая боль. В вены хлынул раскаленный, густой свинец скверны. Яд рвал меня изнутри. Черные гнилые нити поползли под кожей вверх по предплечью, окрашивая руку в трупный, темный цвет. Я едва не закричала, но кулак с кольцом сжала еще крепче, до хруста в суставах. Серебро на пальце раскалилось, удерживая порчу в руке и не пуская её дальше, к моему разуму и памяти.

Я упрямо тянула эту грязь из него капля за каплей, вбирая в свое мертвое нутро чужую смерть.

Не знаю, сколько длилась эта пытка. Когда последняя капля черной жижи покинула тело воина, оставив на его боку лишь чистую, хоть и глубокую рану, силы окончательно оставили меня. Я рухнула рядом на мох, тяжело и хрипло лоя пересохшим ртом воздух. Мои руки до самых плеч были покрыты уродливыми темными разводами порчи, но внутри чурая больше не было скверны. Его дыхание выровнялось, стало глубоким и спокойным. Мужчина погрузился в обычный, целебный сон.

Паренок-волк несмело подошел ближе, удивленно глядя то на чистую рану воина, то на меня — измученную, испачканную черным ядом русалку.

— Ты... ты выпила его смерть? — благоговейно прошептал он.

Я не смогла ответить. Земная сушь и яд Нави окончательно лишили меня голоса. Цепляясь пальцами за траву, преодолевая смертную слабость, я поползла обратно — к спасительной прохладе омота. Туда, где родная вода смогла бы смыть и растворить эту жгучую, отравляющую черноту. Напоследок я бросила взгляд на спящего воина со шрамом на брови. Я не знала его имени, но теперь мы были связаны чем-то куда более прочным и страшным, чем жизнь или смерть.

Всплеск ночной воды принял меня обратно в свои холодные объятия, понемногу смывая с кожи остатки дымящейся порчи. Я уходила на самую глубину, под защиту озерных трав, пока над лесом, пробивая верхушки вековых сосен, наконец поднимались первые золотые лучи солнца.

Глава 5

— Не дыши! Молчи, Воислав, не дыши!

Гарь забивала ноздри, дым выжигал глаза. Я вдавливал младшего брата в сырую солому на дне погреба. Зажимал ему рот ладонью, рука скользила от его пота и слез. А прямо над нами, за досками лаза, хрипел отец.

Малец подо мной дернулся. Его плечи выскользнули из моих испачканных в саже пальцев. — Пусты! — рванулся он вверх, на этот хрип. Туда, где сквозь щели бил багровый свет пожара.

Я бросился следом, сбивая ногти о ступени лестницы. Выскочил во двор, прямо в пекло. Легкие обожгло дымом. Выбросил руку вперед, пытаясь уцепить его за ворот рубахи... Всего три шага. Но ноги увязли в горячей грязи. Я не успел.

Чёрная лапа твари вывалилась из дыма и обрушилась на него сверху. Сухой хруст. Брат обмяк и повалился в траву.

Я хотел закричать, но из горла вылетел лишь сип. В онемевших пальцах был зажат отцовский нож — я даже не помнил, как вытащил его. Страх не было. Внутри всё просто вымерзло.

Навья морда зависла прямо надо мной, тварь уже потянулась когтями к моему лицу, как вдруг из серого месива копоты за её спиной выросла тонкая девичья тень. Чужачка навалилась на чудовище беззвучно, всем весом своего исхудавшего тела. Тускло блеснул тяжёлый колун для дров. Она с диким, натужным хрипом обрушила обух прямо в плоский череп игоши. Раздался глухой, влажный стук. Тварь дернулась, заскребла лапами по земле и затихла, придавив меня своей склизкой тушей.

Вокруг горела наша весь. Лесная девка тяжело, прерывисто дышала. Она отступила на шаг, покачиваясь от усталости, и утерла окровавленным подолом лицо — мокрая ткань липла к её бедрам. За её плечами трещала изба, откуда был порченный ребенок — она сама бросила туда огонь, потому что знала: там уже не люди.

Сквозь чёрную корку сажы на меня бешено и слепо уставились её золотые, лишённые зрачков глаза. Она смотрела на девятилетнего мальчишку у тела брата, и жалости в этом взгляде не было. В опущенной руке девка всё ещё сжимала топор, с которого на землю капала чёрная жижа, но теперь её внимание перешло на нож, зажатый в моих онемевших пальцах.

— Нави мести хочешь, малец? — голос её был сильным от дыма, но плотным. Она не кричала. — Кличь Богов у расколотого камня. Коль крепка воля — услышат. Будь чуром... раз обычной жизни тебе больше нет.

Она шагнула назад, и её скрыла гарь.

В глазах помутилось, ноги подогнулись. Я полз на коленях к расколотому идолу на старом капище. Собственная кровь лилась на камень из разрезанной ладони. Бок резало от боли... Моя клятва. Гром. «Чур меня!» Чернота залила глаза, полезла в рот, утягивая на дно.

И вдруг — лед. Холод оборвал рев пламени. Чернота расступилась. Кто-то коснулся моего лба прохладными пальцами. Ледяная ладонь легла на разорванный бок, вытягивая жар порчи. Огонь погас.

Ратмир открыл глаза резко. Рука по привычке дернулась к бедру, но пальцы лишь сгребли сухую хвою. Меча рядом не было.

Он попытался сесть. В глазах потемнело, мир качнулся, а распоротый бок обожгло изнутри, словно туда плеснули кипятком. Ратмир со стоном повалился обратно на мох. Мышцы были пустыми, словно из жил выпустили всю кровь. Скверна ушла, но сил не осталось совсем.

Над лесом поднималось солнце. Птицы орали в верхушках сосен. Ратмир тяжело дышал, глядя в небо. На лбу выступил холодный пот — чистый, речной, будто к голове все еще прижимали ледышку.

С трудом повернув голову, он посмотрел на бок. Рана оставалась глубокой, но черная жижа исчезла. Вместо нее края надрыва подернулись синеватым инеем, который быстро таял на солнце.

— Живой... — раздался шепот.

На краю поляны, возле Бурана, сидел хромой паренек-перевертыш. Потрепанный, глаза красные от бессонной ночи. Смотрел робко, но без страха. — Где... — голос Ратмира сорвался на шелест. Он сгнул слюну, разлепляя губы. — Где скверна старосты?

Мальчишка прижался к тяжеловозу. Жеребец тихо фыркнул. — Нету больше, дядька чурай, — тихо ответил Волко. — Тебя мавка спасла. Из оута. Она эту жижу черную прямо ладонью из раны тянула, я сам видел. Едва живая осталась, вся потемнела от яда, а с рассветом в воду уползла.

Ратмир нахмурился. Сквозь туман в голове проступили ночные куски: берег, бледные руки и ледяные губы на его лбу. Холод во сне не был мороком.

Чурай хмуро зыркнул на пацана. Чтобы нежить спасала того, кто пришел её убивать? Такого в его мире не бывало. — Мавка, говоришь? — процедил он, пробуя подняться на локтях, но снова упал на мох. — Тварь озерная... Полно дурить, парень. Нежить не помогает. Она силу мою забрала, чтобы позже сожрать, когда я окончательно ослабну.

Волко вдруг вскинул голову. Испуг в его глазах сменился злой обидой. — Неправда твоя! — огрызнулся парень и даже сделал шаг вперед. — Она на своих сестер так рычала, что они в воду убрались! И сама всю эту гадость в себя впустила, руки аж потемнели. Кабы не она, ты бы уже сейчас черной падалью под соснами лежал. Нечего на нее наговаривать!

Ратмир только тяжело усмехнулся, глядя на дерзкого мальчишку. Защитник нашелся.

Если бы я помнила, каково это — болеть, то решила бы, что меня бьет жестокая лихоманка.

Я скрутилась калачиком на самом дне оута, забившись под раскоряченную, гнилую корягу, но даже озерный лед не приносил спасения. Принятая порча грызла меня изнутри, ломала мертвые кости и наизнанку выворачивала онемевшее тело. Я судорожно зарывалась пальцами в холодный, склизкий ил, до боли сжимая кулаки, но мысли всё равно путались, а внутри всё горело живым огнем. Навь заставляла платить за жизнь чурая.

Грудь разорвало новой вспышкой боли. Этот раскаленный, удушливый жар в легких был настолько невыносим, что сквозь агонию упрямо потащил меня назад — в тот самый вечер, когда моя земная жизнь оборвалась. Горло снова сдавило, будто я опять глотала ту грязную, мертвую воду.

А вина моя была лишь в том, что парни со всей веси шли к нашему двору только ради меня. Заглядывались, прохода не давали. А на мачехиных дочек, Гнушу да Люшу, никто и смотреть не хотел — только подсмеивались тихонько за их спинами.

Агриппина за это люто возненавидела меня, волком смотрела. Бывало, обернешься посреди избы, а она стоит в темном углу, кочергу пальцами сжала и сверлит мне затылок — тяжело так, аж под лопатками зудело. У меня от её взгляда спина ледянела, сердце заранее чуяло недоброе. Но я и подумать не могла, на какую черноту она решится.

Очередной судорог скрутил живот, меня выгнуло дугой под корягой, и изо рта вырвался поток черных гнилых пузырей. Боль от скверны идеально легла на ту, старую боль. В ушах зашумело, возвращая в сумерки.

В тот вечер она отправила меня к пруду у самого дома — полоскать белье в ледяной воде. Солнце уже за лес завалилось, густел туман, и нормальные хозяйки давно по избам сидели, а Агриппина упрямо гнала меня вон, аж сама тряслась, когда тяжелый ушат мне в руки впахивала. Ноги к земле прилипали, идти не хотели, и в груди так давило, будто я сама на свой погост шагаю. Страх тогда липкой коркой покрыл кожу — точно так же, как эта порча сейчас.

Там меня и встретили... Лихие люди, которых мачеха серебром подговорила.

Меня затрясло, пальцы до крови впились в донный мусор. Скверна жгла, но я снова чувствовала чужие грубые руки на своей шее.

Они просто столкнули меня в тёмную глубину и вдавили лицом в ил. Я помню этот дикий, животный ужас, помню, как разрывались легкие от нехватки воздуха, пока я не затихла. Утопили, как котенка непутевого, чтобы дочерям дорогу не застилала.

Меня и сейчас топило — только уже этой черной навьей жижей.

От страшных мыслей и удушающей боли меня отвлек речной, глухой шепот. Он пробился сквозь стук крови в ушах.

Сестры обступили меня со всех сторон.

Они хватали меня за плечи, их длинные волосы путались с моими, обжигая мертвую кожу озерной стужей. Мавки ворчали, злились, плевались от черной жижи, которая толчками выходила из меня в воду, окрашивая ил вокруг в цвет грозы. Но вот они завели протяжную, вибрирующую песню — от этого звука у меня внутри заныли все кости, а в жилы хлынула их ледяная, придонная сила.

Водяной накрыл мою грудь своими тяжелыми, шершавыми ладонями. Он сильно, до хруста в ребрах, надавил, буквально выдавливая, вымывая из моего нутра остатки едкой порчи. Жижа вырывалась сквозь зубы черными хлопьями, пока грудную клетку наконец не отпустило.

Когда скверна утихла и мертвые мышцы перестало сводить судорогой, сверху, сквозь толщу воды, долетел глухой, тяжелый всплеск.

— Эй... Мавка! — надрывался с берега волчонок, испуганно вглядываясь в темную воду. Имени моего он не знал. — Пожалуйста, выплыви! Живой он, но подняться не может, стонет... Помоги еще раз!

Мёртвое тело всё ещё выло от слабости, внутри всё тянуло, но я, цепляясь пальцами за придонные корни, упрямо погребла вверх, к камышам. Надо было помочь, иного пути душа не видела.

Водяной перехватил мою руку своей тяжелой, покрытой тиной ладонью. Посмотрел сердито своими огромными рыбьими глазами, выпустив тучу пузырей из зеленой бороды.

— Куда мылишься, девка дурная? — нехотя проворчал Хозяин омота, качая тяжелой головой. — Сама на себя беду накликала, а теперь глазами хлопаешь. Ты ведь не просто порчу из него выпила. Ты силу его чураеву, бережную, глотком зацепила. В тебе теперь капля его живой искры сидит, а в него — твой мертвый, навий холод врос. Обменялись вы сутью, Варварушка. Сшила ты ваши судьбы невидимой нитью, в путы навьи себя заковала. И путы те крепкие.

Я замерла в его хватке, не веря услышанному. А внутри, прямо под ребрами, где раньше пустота дышала вечным озерным холодом, и правда странно, горячо полыхнуло — робко, будто сквозь толщу ила пробился первый живой луч.

Водяной тяжело вздохнул, пустив изо рта череду крупных пузырей, и выпустил мое плечо. Вода вокруг нас качнулась, унося остатки его гнева в темноту.

— Ежели воин твой там, на берегу, испустит дух — и искра его в тебе угаснет, — уже спокойнее, но всё так же сердито продолжил он. Старческие, покрытые зеленой тиной пальцы разжались, вкладывая в мою ладонь сочный, горько пахнущий корень одолень-травы. — А с ней и ты развеешься, озерная твоя душа в ил уйдет.

Я сжала пальцы, чувствуя жесткую, волокнистую плоть стебля. Речной полумрак вокруг нас словно раздвинулся, давая дышать.

— На вот — вытолкни мальцу в камыши, пускай заварит чур, — буркнул хозяин омута, отворачиваясь и всем своим видом показывая, как ему надоели людские заботы. — Иначе этот волчонок нам всю рыбу воем распугает, а еще одно дохлое тело на моем берегу мне без надобности. Умрет чур — и тебе конец. Ступай уже.

— Ну такого-то и утопить не грех! — захихикали мавки, так яростно заплескав чешуйчатыми хвостами, что по речной глади пошли крупные пузыри. — Гляди, какой складный! Живой, тёплый...

— Сейчас я его за лодыжку хвачу, пускай на дно идет, со мной играть будет! — оскалилась самая бледная. Из-под её посиневших губ блеснули острые, частые зубы, а зеленоватые болотные волосы шлейфом потянулись в воде, когда она подалась вперёд, готовая скользнуть к берегу.

Меня передернуло от отвращения. Внутри, где еще мгновение назад всё выжигало черной порчей, вдруг поднялась глухая, собственническая злость. Мой чурай. Искра, за которую я едва не заплатила остатками своей души. Я инстинктивно перехватила корень одолень-травы поудобнее, готовая ногтями вцепиться в эту бледную тварь, посмей она только двинуться к камышам. Губы, всё ещё сводило судорогой от пережитого страха, но я упрямо процедила сквозь зубы глухое, предупреждающее шипение.

— Цыц, мелюзга омутная! — к счастью, глухо, будто из пустой бочки, донеслось из глубины.

Огромная коряжистая ладонь Водяного, облепленная склизкими водорослями и речными ракушками, с тяжелым плеском опустилась на воду. Тяжелая волна окатила притихших мавок, сбивая их в кучу и унося подальше от меня.

— Сказано вам: не трогать, — пророкотал Хозяин, и из его бороды сердито брызнула речная пена. — Брысь под коряги, пока я вас ракам на корм не отдал!

Мавки обиженно прыснули и потянулись ко дну, напоследок обдав меня веером холодных брызг. Пользуясь затишьем, я судорожно глотнула озерной воды и, кое-как перебирая отяжелевшими руками, поплыла вверх, к мелководью. Каждое движение давалось с трудом — сил на то, чтобы выйти на сушу и снова разделить хвост на человеческие ноги, не было вовсе.

Широкие листья кувшинок неохотно раздвинулись, пропуская меня. Я бесшумно вынырнула у самого берега, по грудь зарываясь в спасительную тень густых, жестких камышей, и наконец-то смогла сделать первый настоящий вдох.

Мальчишка сидел на корточках у самой кромки. Стоило мне показаться, как он отшатнулся, но тут же подался вперёд, ловя мой взгляд.

— На, держи, — тихо, сквозь зубы процедила я, протягивая ему из воды скользкий корень. Губы сделались деревянными, они едва слушались от пережитого потрясения, отказываясь складываться в слова.

— Заваришь. Прямо в кипяток бросай, пускай томится, пока вода не потемнеет. И пой его. Понял, волчонок? Сам он не сдюжит.

Малец судорожно закивал, выхватывая у меня одолень-траву. Я оттолкнулась от склизкого берега и ушла обратно в тёмную прохладу, позволяя кувшинкам сомкнуться над головой.

Я опустилась на заиленное дно и прижала ладонь к груди. Нас связали намертво. Я это уже знала, а вот чур на берегу ещё даже не догадывался, какая участь его постигла.

Моя нежизнь теперь зависела от чужого вдоха. От этой мысли мертвые суставы сводило стужей, но сквозь подступающий ужас вдруг пробилося забытое, щемящее чувство. На мгновение показалось, что озёрный холод отступил. Там, под кожей, глубоко за мёртвыми рёбрами, разлилось слабое, тонкое тепло. Настоящее, человеческое. То самое, из прошлой жизни, кото-

рую я уже и позабыть успела. Навья петля затянулась, но вместе с ней вернулось то, чего у меня нельзя было отнять — я снова могла чувствовать.

И что теперь будет дальше — одному Чернобогу ведомо.

Г

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.